# Данилушка

# Николай Герасимович Помяловский

# Психологический очерк

Было время, когда многие у нас на Руси не имели фамилий; для многих эта роскошь приобретена после. Иван сын Федотов или сын Антонов, сын Васильев — и довольно. Разве только соседи или товарищи дадут прозвище, и это прозвище носит получивший, носят дети его, внуки и т. д., и потом Корова, или Свинтух, или Полосуха и проч. превращается в Коровина, Свинтухина, Полосухина. Так и наш Иван Иванович не имел фамилии.

Иван Иванович был дьячок богатого приволжского села К. Поживал он отлично, не хуже иного дьякона, потому что рублей триста ассигнациями было у него доходу, была землишка под садом, были неводки. Жена его Татьяна Карповна ткала знатные полотна и вязала вареги, копила творог, и это давало тоже доходу рублей на полтораста в год. Были и частные занятия у Ивана Ивановича: он читал псалтирь по покойнике у помещика Степановича, учил букварю двух дворовых людей, доставал иногда переписку из соседнего города и брал по десяти копеек за лист; кроме того, он мастер был резать из меди и кипариса крестики, четки, образа, деревянные ложки, уховертки, зубочистки и другие мелкие изделия. Одним словом, Иван сын Иванов стоил бы права иметь фамилию, чтобы и в потомстве не забыли его. Он был дьячок, право, лучше иного дьякона, даже и такого, у которого толстый бас. Талантов у него было много. Всему он научился сам. Хозяйство у него исправнейшее.

Он любит почитать и книжку, только самого серьезного содержания и церковной печати: например, Четьи‑Минею, Святцы, Библию и т. п. В церкви он читал, как и все дьячки читают: скреб себе октавою, так что, когда приходилось произносить «Господи, помилуй» 40 раз, у него выходило: «помилосты, помилосты»; но дома он читал с чувством, с расстановкой, даже с толком. Такой идеальный дьячок жил еще в те времена, когда дьячки носили косы и бороды, — то и другое у него было, но причесано; сюртук длинный, шаровары в сапоги, шапка с широким козырьком, что очень шло к его фигуре. Помещики его любили, священник не мог нахвалиться им, а прихожане считали его за авторитет не только по хозяйственной, но и по другим частям.

Жена и дети Ивана Иванова жили в страхе божием. Хотя наш Иван Иванов и придерживался того убеждения, что жена — слабый, немощный сосуд, и такой сосуд, который снаружи красив, а внутри полон скверны и нечистоты, — все‑таки он любил жену, — не романически, конечно, а по‑христиански, как заповедали святые отцы. С детьми он разговаривал мало, отвечая им резонно, коротко и ясно. Изредка только он позволял себе поболтать с ними, позволял им хохотать и карабкаться к нему на шею; — и странно, дети, имевшие к нему какой‑то страх, в этих случаях были свободны и, не стесняясь, пихали пальцы свои ему в рот и нос, теребили за бороду и жидкие косички. Но лишь только произнесет отец: «довольно!» — сразу оставляли его. Он был убежден, что ребенка хотя раз в месяц следует вспарить, но, имея мягкую натуру, он парил их редко, за что немало претерпевал мучений совести.

— Эх, избалую я детей! — говорил он, вздыхая. — Ну, да что ж ты станешь делать. Станешь сечь — им больно, а мне и еще того больней. Не могу.

Но и на него иногда находил час греха. Начнет он бродить по комнате, — бродит день, другой, не ест, не пьет, не говорит ни с кем, и все точно перемогается. Наконец скажет: «нет, грех уж, видно, такой!» и через полчаса является пьян‑пьянехонек, и лыком не вяжет авторитет села К. Однако, пьяный он никогда не шумит, сидит молча, подгорюнившись, и ничто не заставит его говорить. На другой день он опять начинает старую, трезвую и разумную жизнь, как будто вчера ничего не случилось, а жена и не намекнет ему о вчерашнем. У ней есть такое убеждение — «не спрашивай: пьет или нет; кто не пьет ныне? ты смотри, какой он во хмелю». Ну, а Иван Иванов был хорош во хмелю.

У Ивана Иванова был сын Андрюша, сын Петюша, сын Данилушка и дочь Анна. Знатная Анна была у него. Ну, да не о ней дело. Хороши были и братцы ее, да и не о них собственно дело. Дело о Данилушке.

Данилушка был мальчик очень бойкий. Он был любимец матери. Название «матушкин сынок» употребляется в двух смыслах: матушкин баловень и матушкин любимец. Замечают вообще, что маменькин сынок и маменькина дочка вообще бывают счастливы и умны. Был ли Данилушка счастлив, это увидим после. Но ум его и разные способности и таланты уже обнаруживались в его натуре даже теперь. Та же разносторонность, та же способность ко всему, как и у отца: сделать ли кораблик, с лихим хлыстом удочку, запустить с разными невиданными белендрясами и трещетками змея, одним обломком ножа сделать лук и стрелы — это для него ничего не значило: все легко было для него. Мало того, что он, бывало, переймет что‑нибудь, он всегда пойдет далее, сделает дополнения, изменения, улучшения. Многое изобрел он даже сам. Например, он устроил между стеной сарая палку, перехватил ее веревкой, двинул веревку — вал пришел в действие со скрипом и треском; это потешало Данилу. Но вот он дотронулся до конца палки: она была горяча. «Это отчего? — запало ему в голову. — Горячо бывает от огня! Подожди же!»

Он позвал братьев, сплел из мочала толстую веревку, чтобы она могла перенесть сильнейшее трение, и вот началась работа. Старшие братья спрашивали: что из этого будет.

— А вот увидите! — отвечал Данилушка; после быстрого, усиленного трения концы палки издали дым, а потом вспыхнул и огонь. Дети вскрикнули от удивления.

Удивительно был изобретательный мальчик этот Данилушка. Сам он выдумал тенета для птицы. Однажды он забрался на чердак и бросил в слуховое окно птичьи перышки и пух. Только вдруг стриж на пол‑аршина от его носу схватил перо и унес. Это понравилось Данилушке. Он стал продолжать забаву. Другой стриж сделал то же, третий, четвертый. Хорошо. Этот случай так и прошел. Но Данилушке запало в голову, как бы это на пухе поймать стрижа. Пробовал бросать пух, поджидать стрижа, а сзади и метнет камнем. Нет, не выходит. На нитку привяжет перо и думает: «пущу; как он хватит, я и дерну, авось‑либо упадет на пол»; но птица боится нитки, да и перо трудно летает. Пытал, пытал да и бросил это дело. Однажды он навязал на бечевочку камень и пускал в виде кометы в воздух с криком и хохотом. Когда надоела ему игра, он ударил камнем об кол, желая оборвать или раздробить его, но камень залетел далее, ударилась веревка, обвилась около кола да так и захлестнулась… Вдруг Данило остановился. Это поразило его. Нет, не поразило, а дух изобретательности именно послал ему вдохновение. Мгновенно, подобно молнии, пробежали в голове его тысячи мыслей и выдумок, и он вскричал: «А! теперь я поймаю стрижа». Он, увидев братьев, уверял их, что поймает руками этого стрижа, который летит стрелой по улице и полю и вьется над Волгой, который не боится ни ястреба, ни человека, который так досадно смел, что между ног мчится… Братья смеялись над ним, разболтали матери, мать сказала Ивану Иванову, и за ужином все потешались над Данилой, который сбирался поймать руками стрижа.

— Да ты б и стерлядей наловил нам руками, — говорил дьячок. — Эх, Данило, тебя пороть надо!

— А что, если, тятька, я поймаю? что тогда? Тогда ты, тятька, для удища крюк подари да два гроша.

— А если не поймаешь?

— Тогда, тятька, вихры натряси!

— А зачем тебе два гроша?

упрямства; потому что это — намек на то, что для такой натуры сильно только нравственное возбуждение, что он может действовать только по высшим причинам, а не по страху…

Иногда отец бывал не в духе, и тогда он ко всему придирался.

— Ты шапку‑то где взял? — спрашивает он сердито у Данилушки.

Данилка молча весит ее на гвоздь.

— А зачем козырем кверху?

Отец сознает, что следовало бы высечь Данилку, но ему и жалко его, и является в душе Ивана Иванова смесь и борение разных чувств: и грусти, и досады, и недовольства, и даже совестно ему, хотя и сам он понять не может, чего же ему совестно. Все его беспокоит, все раздражает, и вот, придираясь к старшему сынишке Петьке, он доводит его до того, что Петька грубит, и отец парит Петьку… После этого те же чувства недовольства и беспокойства поднимаются еще градусом выше. Отец грозит лозой и на Анну; но Анну спрятала мать. Тогда запищал двухлетний Андрей, но… о, господи! — отец и Андрейку парит. Тут является мать, начинает ругать мужа, назовет его, забывая страх божий, и лысым дураком, и другим разумным словом наставит… Супругу свою отец уж не парит.

В этом отношении и семейные порядки были странные. В минуты нерасположения толк и правда в семье были иные: позволенное запрещалось; умное прежде — теперь становится глупым, негодным; за что отец сам иногда, в добром духе, похваливал, — за то теперь следовали розги и казни. Благосостояние и спокойствие семьи зависело от того, как настроен отец, который всегда любил на ком‑нибудь сорвать свой гнев; у него уж такая была натура, что непременно выражалась и в лице, и в слове, и в деле.

— Поди ты прочь, что торчишь тут, — вдруг ни с того ни с сего скажет отец. Это уж так и знайте, что он либо не доспал, либо сосед с ним в чем‑нибудь не поладил, лошадь нездорова, или пасмурный день произвел дурное впечатление. Случалось, например, что у Ивана Ивановича выходил весь табак; понюхать страшно хочется, а надо ждать до утра, — тоска такая нападет; или, например, голодный он всегда бывал сердит.

— Да поди ты прочь, каналья, — кричит он с голоду на Данилку.

Данилко отходит к окну и начинает скрипеть гвоздем по стеклу. Отец бесится.

— Ах, ты леший! — говорит он.

Уж тут так и знайте, что дойдет до порки.

И порка давно царит в семье, как необходимое педагогическое средство. Анну отец начал парить на седьмом году, Данилу на пятом, Петруху на третьем, а Андрейку не пожалел и на втором. Причина этому единственно заключалась в том, что по мере умножения семейства, присмотр делался сложнее и затруднительнее, и розга употреблялась чаще и чаще, как средство вспомогательное и более хозяйственное в педагогическом отношении. Объяснять ребенку, что худо и почему худо, — долго, ну а посек, он и не будет делать ничего нехорошего.

Условия, в которые поставлен человек, чем запутаннее, сбивчивее, противоречивее, тем труднее человеку саморазвиться правильно. Данило был ребенок умный; он, встречаясь постоянно с противоречиями со стороны старших, привык полагаться на самого себя и свое решение считать последним. Ребенок чувствовал, что его секут не за то собственно, что он повесил шапку козырьком вверх, а за то, что лошадь нездорова и батька сердит. Он не мог определенно выразить свои ощущения, но чувствовал, что отцовское «хочу так!» часто не имеет основания, и увлекался не тем, чего отец хотел, а воспитывал и в себе тоже свое «хочу так!» Отец часто недоумевал, что за упорство у Данилки, в кого он только выдался; а очевидно, что Данило у него же и учился упорству, поддаваясь нравственному влиянию не сечений и наставлений, а влиянию его поступков: Данилко инстинктивно растил в себе свое маленькое, ребячье «хочу!», и если отцу приходилось в недобром расположении придраться к Даниле, то всегда повторялось явление, подобное тому, какое описали мы выше. Но если бы в его семействе было полное отречение прав дитяти, что сталось бы с Данилой? Из него либо вышло бы забитое, несчастное существо, автомат, дурачок, разиня и плакса, либо просто страшно беснующийся негодяй.

Но не одна тень была в жизни Данилы; в ней был и свет, и добрая сторона в семействе чаще преобладала над беспорядком; крик и неудовольствия раздавались не так часто, как смех и радостный говор.

###### \* \* \*

Даниле одиннадцать лет. Он мальчик крепкий, здоровый и коренастый; его воспитали наш сельский воздух, здоровая пища, свобода и приволье деревенское; летом подпекло солнце, зимой отполировал мороз. В нем уже обнаруживается та же способность ко всякому делу, какая была и у отца, и то же обилие талантов.

Он не только гулял да изобретал разные хитрые штуки: он был полезным членом в семье. Учился по книге он зимою, больше учился из жизни и природы. Ребенок все видел, что совершалось в его среде, во многие входил рассуждения, многим заведывал. В быту других детей жизнь взрослого резко отличается от их жизни: там возрасты менее соприкасаются вR занятиях, и дитя редко выходит из сферы игрушек и учебн иков, начиная жить полною жизнью только по окончании курса, по выходе из школы. А здесь дитя живет и до училища: сводить ли на водопой лошадь, помочь отцу около дома, в огороде, и в саду, и в рыбных промыслах, поняньчить маленького брата, петь с отцом на клиросе — все это поручалось Даниле, по мере детских сил. И все это развивало в Даниле практичность и ясность взгляда.

В свободное время он отправлялся в лес, чрез рвы и болота путешествовал; легкая лодчонка уносила его с бедным завтраком на целый день. Данило ловко уже владеет веслами; заправил он в камыши, пустил с длинных хлыстов лесы и замер в ожидании: скоро ль поплавок нырнет в воду. Родители не боятся, что их дети могут потонуть. Здесь дитя свободнее, самостоятельнее, и это лучшая сторона в его воспитании.

— Где ты до сих пор болтался, Данилко?

— А в Деурино ходил.

А Деурино‑то пятнадцать верст от дому. Даниле давно хотелось обследовать все окрестности. Он знает, где растут самые лучшие грибы и сморода, и яблоки, и разная ягода, и орех; знает, где в болотах самые высокие султаны, на Волге самые густые камыши; видал он и могилку некрещеного сынишки старосты, и овраги, и окрестные ручьи; на кладбище знает‑всех покойников за пять лет; на память помнит все надписи на плитах и крестах; на лодке на дальное пространство изъездил Волгу и к верху и к низу. Мастер он был отыскивать диких пчел, знал отличные места для ужения в реке. Он был неутомимый ходок. Вслушивался он, гуляя по лесам, в голоса птиц, знал и дятла, и ястреба, и синицу, слыхивал соловья и заслушивался его целые ночи. Его детский крик и песня спугивали в соснах серого рябчика и тетерку; видел он, как с полей поднимались стада журавлей и лебединые полки. Он засиживался по целым часам над муравейником, наблюдая муравьиные хлопоты и работы, походы и битвы, порядок и управление.

Понятно, каково было Даниле, свободному как воздух, свежему, здоровому, сильному и умному ребенку, подчиниться капризу отца и розге. Его щеки запеклись от загара, голова позолочена солнцем, грудь воспитана в еловых и липовых лесах, тело выросло из сельской пищи, бродячая жизнь укрепила его, развила наблюдательность и ум. Да, это счастливая сторона его воспитания; потом уже никакой учебник, никакая ботаника и зоология не научат тому, что он теперь в один день заметит в лесах и на водах. А потянутся по Волге барки, каких ни наглядится он лиц, каких ни увидит товаров! Не выезжая из деревни, он знал больше всякого городского мальчика, окруженного нежными гувернантками, учебниками, глобусами, картинами и другими лицами и препаратами воспитания. Но ни один городской мальчик не видывал картины такой, какие видывал Данило. Никому учебник не говорил так много, как Даниле говорила мать‑природа. Да он и сам был дитя приводы. Ему не преподавали по рецептам изучать сначала арифметику и грамматику, потом средне‑учебные науки. Он всему учился сразу — и логика, и практическая философия, и языки, и вера, и сельское хозяйство, и география на тридцать верст в окружности, и право, насколько оно известно в деревне, — все ему известно, все он черпает не из мертвых книг, а прямо из жизни, из природы. И зато навеки останется в сердце его все, что он почерпнул из этого естественного источника.

Но как жалко Данилу, что его жизнь стеснялась дома, что эту силу и здоровье, почерпнутые из природы, направляли к упорству.

Безапелляционное «хочу» и недоброе расположение духа не всегда, однако, царствовали в семье дьячка. Вот глубокая осень. Отец обошел свои гумна и нашел, что всего‑то у него вдоволь. Он рад и спокоен. Данило принес первую клюкву. Кипит самовар на столе. Анна качает люльку; мать стучит спицами; Петруха мастерит какую‑то штуку долотом; отец добыл Четьи‑Минею и начинает читать о Георгии победоносце и св. великомученице Варваре. Бывают во всяком более или менее добром семействе тихие, мирные вечера, когда в воздухе веет благодать и кротость; всех посетило легкое расположение, нет ни хохоту, ни крику детского. Это не счастье, которое волнует кровь, это чудные часы жизни, после которых не остается ни утомления, ни пустоты в душе, это — поэзия семейной жизни! В такие минуты ребенок, утомившись игрой, положит голову на руку; взор его углублен, и не угадать, сознает ли он себя или не сознает. Самовар шумит и свистит, раздается мерная октава Ивана Иванова, Данило, забравшись в угол, слушает сказания о великих чудотворцах. У него замирает сердце и в патетических местах дрожит слеза на реснице, и потом долго мечтается ему о такой святой и блаженной жизни, и представляется уже ему, что вот и его ведут к Диоклетиану, и он читает «Верую», и проводят его чрез все роды казней и мучений, и мечтается ему, что он все это перенесет и переможет и будет святым.

###### \* \* \*

Славные места есть на Волге для уженья рыбы. Данило и все старшие братья Данилы обнаруживали в себе охотников страстных. Рыболовство было их страстью. Легкая лодчонка уносила ребят с хлыстами на целый день, и родители не боялись, что их дети могут потонуть. В этом сословии не балуют Детей. Посмотрите: мальчонка семи лет верхом на лошади отправляется за 8 верст в кабак. Здесь с бреднем ловят девчонки щук у берега; четверо босоногих, в одних рубашонках, Двухлетних и трехлетних детей ползают на самой дороге, измазались они и набили рот песком. Петюшка, сынишка старосты, один ходит по лесам, не боясь заблудиться; вон мальчуга забрался на ворота и выделывает там разные штуки; отец ему только сказал: «Сашка, оборвешься!» и пошел далее… Свобода полная процветает в этом сословии.

Знатно проводили время на Волге братья Ивановы. Даниле и во время охоты и дома, после охоты, когда кроватка качалась под ним, как лодка, в глазах рябели волны, из‑за шкапа выглядывал куст или барка, и постоянно поплавок шмыгал в воду, — везде мерещилась охота в большом размере. «Вот если бы наловить рыбы, продать ее да накупить удочек, можно бы много наловить рыбы», — думал он. Но пуще всего ему хотелось половить ночью, о чем он просил отца и что ему было строго запрещено… Но что западет в голову Даниле, того ничем, бывало, не выбьешь…

Братьев он давно сманивал на охоту ночную…

Раз предприятие состоялось… Решились уйти без спросу. В одной комнате с ними спал отец; двери запирались накрепко, и потому решено было уйти в окно. Примерно все полегли… Данило чутко прислушивался к тому, как засыпал отец. Вот раздалось его сопенье… В темном углу приподнялась голова Данилы…

— Братцы, вы лежите, а я приподниму окно, — шепнул он. Нужно было удивляться терпению и осторожности Данилы.

Он по крайней мере четверть часа пробирался к окну и не сводил глаз с отца. Посмотрит на отца, на окно, потом на место, куда ступить, прислушивается к одежде своей… Отец пошевельнул головой… Данило так и окаменел на месте, даже сам не чувствует своего дыхания. Вот луна выплыла и облила полосами сквозь окно спальную… Андрюшу вдруг дернуло тыкнуть — ему стало чего‑то смешно…

— А когда так, — сказал вслух, впрочем, негромко Данило, — так вот же вам!..

Он пошел смело, отодвинул окно и был таков. Отец только повернулся на другой бок. Немного погодя и братья последовали ею примеру. Ночь удалась. Рыбы наловили дети мало, но прекрасно провели ночь. Ранехонько возвратились они домой, и никто не узнал этого. Похождения ночные стали повторяться чаще и чаще… Наконец они однажды были замечены. Страшно перепугались братья, когда отец ночью поймал Данилу в самом окне за чупрын. Ночью же была и расправа…

Но на другой день, странно, отец рассудил, отчего же не пустить их ночью побаловаться, ведь не первый раз, и ребятам была объявлена свобода.

###### \* \* \*

Вскоре Данило стал замечать, что в семье с ним начали обходиться как‑то особенно. Мать, бывало, подойдет, погладит его по голове и вздохнет. Она никогда не целовала своих детей. Однажды он накуралесил и хоть не был парен уже месяца два, но и тут его не выпороли. Батька подарил ему два гроша в воскресный день и сказал: «Смотри, брат, копи денежку; может, и пригодится». Данило спрятал деньги; он носил их в сапоге, под ногой… Мать ему стала давать самую большую порцию за обедом, и когда братишки косились на это, она говорила им: «Ну, наедитесь еще! Данилушке надо побольше!» Часто шептались родители между собою и смотрели в то время на Данилу. Данило стал предчувствовать что‑то недоброе. Не то, чтобы ребенок заметил и определил ясно и подробно все перемены обхождения; нет, а перемены сами давали себя чувствовать, и Данило, видя, что около него что‑то не то, стал задумываться. Однако, если б его спросили, о чем он беспокоится, он сам не сказал бы. Ему казалось, что ему — так что‑то неловко. Обстоятельства наконец стали определяться.

— Что, Данилко? ты не боишься, плут, розог? а? жаль мне тебя, Данилко, — сказал дьячок, и заметно стало для Данилы, что отец не договаривает.

— Щи да каша — еда наша; в щах силушка русская, а каша — подспорье ей. Приучайся к каше. Не всегда будешь есть, как дома кормят. А два гроша целы?

— Целы.

— Ну, вот тебе еще два, — пригодятся.

Данилушка молча взял деньги.

— Ничего, Данилушко, розги ничего, притерпишься, голубчик: не репу сеять…

— Да что ты, тятька, точно не договариваешь?

— Вишь ты, в училище хочет везти, так и не договаривает, — вставила мать.

— Ну, что ж, Данило? Как ты полагаешь? а?

— Ну, в бурсу, так в бурсу…

— А парят там, Данилко, чорт их побери, знатно…

Данило и прежде знал, что ему придется в училище ехать, и что оно от дому за триста верст, но ему представлялось, что это может случиться не раньше, как через сто лет; такие вещи, дескать, не сразу делаются.

— А чем там, тятька, секут?

— Розгами же, Данилко; только сечет‑то солдат; один сечет да два держат: один за ноги да один за голову… А то, бывало, и секут‑то двое… с одной стороны да с другой стороны. Худая это штука, Данилко…

— Я убегу, тятька.

— Нет, не убежишь! Там солдат стоит у ворот.

— Так я с дороги убегу.

— А куда ж с дороги пойдешь?

— А в разбойники!..

— Полно, Данило, отпорю…

— Ну да, отпорю…

— Ну, полно… На еще два гроша, на; копи деньгу, пригодится.

Настал памятный для Данилки четверток, 17 число августа 1837 года… В избе была хлопотня. С утра пекли и варили. В углу лежал узелок и халатик Данилы… Братишки были вымыты и одеты по‑праздничному. Отец задумчиво ходил по комнате. Данило лежал на лавке вниз брюхом и сердито плевал на пол. Пришел священник и стал служить молебен Козьме и Дамиану бессребренникам. Даниле наконец страшно стало. Показалось ему, что соборуют его, а не просят бога умудрить его, яко Соломона… Октава Ивана Иванова звучала глухо и уныло… Потом сели закусить. Отец Василий, благословив трапезу, сказал:

— Ну, дай бог твоему сынку счастье; а ты, Данило, учись да слушайся старших, — все будет хорошо, и сам полюбишь науку, и умудрит тебя господь, и будешь большим человеком. Но, охо‑хо, трудна наука, трудна. Молись, Данило, чаще богу, все пронесет он мимо тебя. Поди, благословлю я тебя.

Данило принял благословение батюшки.

— Ну, и я тебе скажу, сынок, кое‑что: терпи, все терпи; вытерпишь, человеком будешь. А вытерпеть надо — такая уж участь. Больше я тебе ничего не скажу. Ну, мать, благослови сына, да и прощаться надо.

— Ах, ты, Данилушко, вот ты у нас какой слабенькой, а там тебя вконец ощиплют, окаянные. Прощай ты, мое красное солнышко!..

Мать причитала и плакала, — все шло по обычаю и форме. Помолились богу, еще перецеловались, присели на лавки и, помолчав минут десять, все поднялись.

— Ну, пойдемте на улицу!

На улице опять перецеловались и простились. Тронулась лошаденка; мать перекрестила воздух; долго она стоит да крестит, захлебываясь слезами. Отец сел вместе с сыном. Дорога прямая, как лента… Долго виднеется шапка дьячка… Но вот скрылся возок. Мать взвизгнула и оперлась на перило крыльца. Стонет она и надрывается. Андрюшка ухватился за подол и тоже ревет… И есть чему плакать, есть!..

*[1859]*